

Владимир Галактионович Короленко

Яшка

**Короленко Владимир
Галактионович
Яшка**

Владимир Короленко
Яшка

I

Жестокие, сударь, нравы... Островский
...Нас ввели в коридор одной из сибирских тюрем, длинный, узкий и мрачный. Одна стена его почти сплошь была занята высокими окнами, выходившими на небольшой квадратный дворик, где обыкновенно гуляли арестанты. Теперь, по случаю нашего прибытия, арестантов "загнали" в камеры. Вдоль другой стены виднелись на небольшом расстоянии друг от друга двери "одиночек". Двери были черны от времени и частых прикосновений и резко выделялись темными четырехугольниками на серой, грязной стене. Над дверями висели дощечки с надписями: "За кражу", "За убийство", "За грабеж", "За бродяжничество", а в середине каждой двери виднелось квадратное отверстие со стеклышком, закрываемое снаружи деревянной заслонкой. Все заслонки были отодвинуты, и из-за стекол на нас смотрели любопытные, внимательные глаза заключенных.

Мы повернули раз и другой. Над первую

дверью третьего корпуса я прочел надпись: "Умалишенный", над следующей -- то же. Над третьей надписи не было, а над четвертой я разобрал те же слова. Впрочем, не надо было и надписи, чтобы угадать, кто обитатель этой каморки,-- из-за ее двери неслись какие-то дикие, тоскующие, за сердце хватающие звуки. Человек ходил, по-видимому, взад и вперед за своею дверью, выкрикивая что-то похожее то на еврейскую молитву, то на горький плач с причитаниями, то на дикую плясовую песню. Когда он смолкал, а в коридоре наступала тишина, тогда можно было различить монотонное чтение какой-то молитвы, произносимой в первой камере однозвучным голосом. Дальше видны были еще такие же двери, и из-за них слышалось мерное звяканье цепей. Надпись гласила: "За убийство".

Это был "коридор подследственного отделения", куда нас поместили за отсутствием помещения для пересыльных. По той же причине, то есть за отсутствием особого помещения, в этом коридоре содержались трое умалишенных. Наша камера, без надписи, находилась между камерами двух умалишенных,

только справа от одной из них отделялась лестницей, над которой висела доска: "Вход в малый верх".

Пока надзиратели подбирали ключи, чтобы открыть нашу камеру, сосед наш по правую сторону-- третий умалишенный -- не подавал никаких признаков своего существования. Сколько можно было видеть в дверное оконце, в его камере было темно, как в могиле.

-- Яшка-то молчит ноне,-- тихо сказал "старший надзиратель" младшему.

-- Не видит... Ну его! -- ответил тот так же тихо.

Вдруг из-за стеклышка сверкнула пара глаз, мелькнул конец носа, большие усы, часть бороды. Вслед за тем дверь застонала и заколебалась. Яшка стучал ногою в нижнюю часть двери так сильно, что железные болты гнулись и визжали. Каждый удар гулко отдавался под высоким потолком и повторялся эхом в других коридорах. Надзиратели вздрогнули. "Старший" -- седой, низенький старичок из евреев, с наружностью старой тюремной крысы, с маленькими, злыми, точ-

но колющими глазами, сверкавшими из-под нависших бровей,-- весь съежился, попятился к стенке и бросил в сторону стучавшего взгляд, полный глубокой ненависти и злобы.

-- Полно, Яшка, что задурил-то? -- отозвался коридорный надзиратель, серьезный старик, с длинными опущенными вниз усами, в большой папахе.-- Чего не видал? Видишь, арестантов привели!

Тот, кого называли Яшкой, окинул нас внимательным взглядом. И, как бы убедившись, несмотря на наши "вольные" костюмы, что действительно мы арестанты, прекратил стук и что-то заворчал за своею дверью. Слова мы не могли расслышать -- "одиночка" уже приняла нас в свои холодные, сырые объятия. Запоры щелкнули за нами, шаги надзирателя стихли в другом конце коридора, и жизнь "подследственного отделения" вошла опять в свою обычную колею.

Пять шагов в длину, три с половиной в ширину -- вот размеры нового нашего жилища. Стекла в небольшом, в квадратный аршин, окне разбиты, и в него видна, на расстоянии двух сажен, серая тюремная стена. Углы каме-

ры тонули в каком-то неопределенном полумраке. Карнизы оттенены траурною каймой многолетней пыли, стены серы, и, при внимательном взгляде, видны на них особые пятна -- следы борьбы какого-нибудь страдальца с клопами и тараканами,-- борьбы, быть может, многолетней, упорной. Я не мог освободиться от ощущения особого рода неприятного запаха, который, как мне казалось, несся от этих стен. Внизу, у самого пола, в кирпич было вделано толстое железное кольцо, назначение которого для нас было ясно: к нему была некогда приделана короткая цепь... Две кровати, стул и маленький столик составляли роскошь "одиночки", которую ей, быть может, привелось видеть впервые. В остальных камерах, таких же, как наша, не было ничего, кроме тюфяка, брошенного на пол, и живого существа, которое на нем валялось...

За стеной послышалось дребезжание телеги. Мимо окна проехал четырехугольный ящик, который везла плохая, заморенная клячонка. Два арестанта вяло плелись сзади, шлепая "кеньгами" по грязи. Они остановились невдалеке, открыли люк и так же вяло

принялись за работу... Отвратительной вонью пахнуло в наши разбитые окна, и она стала наполнять камеру...

Мой товарищ, улегшийся было на своей постели, встал на ноги и тоскливо оглядел комнату.

-- Од-на-ко! -- сказал он протяжно.

-- Д-да! -- подтвердил я.

Больше говорить не хотелось, да и не было надобности,-- мы понимали друг друга. На нас глядели и говорили за нас темные стены, углы, затканые паутиной, крепко запертая дверь... В окно врывались волны миазмов, и некуда было скрыться. Сколько-то нам придется прожить здесь: неделю, две?.. Нехорошо, скверно! А ведь вот тут, рядом, наши соседи живут не одну неделю и не две. Да и в этой камере после нас опять водворится жилец на долгие месяцы, а может, и годы...

А арестантики продолжали работу -- это была их ежедневная обязанность. Ежедневно приезжали они сюда со своим неблаговонным ящичком и вяло черпали час, другой, уезжая и приезжая,-- все мимо целого ряда плохо прилаженных, часто разбитых окон.

Мы заткнули разбитое окно казенной подушкой. Запах несколько уменьшился, или мы притерпелись, но только тоскливое чувство, внушенное нашей беспомощностью, тишиной, бездеятельностью одиночки, из острого стало переходить в тупое, хроническое... Мы стали прислушиваться к тихому жужжанию внешней жизни, прорывавшемуся сквозь крепкие двери.

Внешняя жизнь для нас была жизнь двора и коридора тюрьмы. В дверное оконце, когда его забывали закрыть наружной заслонкой, виднелись гуляющие арестанты. Они "толкались" по квадратному дворику парами, тихо и без шума. Казалось, серые халаты налагали какое-то обязательство тихой солидности.

В известные часы по двору проносилась команда: "Пошел за кипятком!", "Пошел за хлебом!", "Обедать пошел!", "По-шо-ол, расходись по камерам!" Выпускали на время подследственных из строгого одиночного заключения или каторжников в цепях. Последние еще солиднее прохаживались по коридору: цепи уже, несомненно, налагали это обязательство. Под вечер где-то на третьем дворе

раздавался звонок: приближалась "поверка". Ежедневно в семь часов смотритель или его помощник обходили с караульным офицером и конвоем солдат все камеры, считая заключенных.

Так проходил день в "подследственном отделении".

...Раз, два, три, четыре...-- гулко раздавался по временам сильный стук. Это Яшка тревожил чуткую тишину коридора. Среди этой тишины, на фоне бесшумной, подавленной жизни, его удары, резкие, бешено-отчетливые, непокорные, составляли какой-то странный, режущий, неприятный контраст. Я вспомнил, как маленький "старший" съежился, услышав эти удары. Нарушение обычного безмолвия этой скорбной обители, казавшееся даже мне, постороннему, диссонансом, должно было особенно резать ухо "начальства".

Не знаю, зачем, собственно, понадобилось мне считать эти удары. Раз, два, три... около шести стук усиливался; семь, восемь, девять...-- стоял сплошной гул, затем на одиннадцати, редко на двенадцати, звук резко обрывался. В это мгновение у меня являлось в пра-

вой ноге мимолетное ощущение ноющей боли. Мне казалось, что Яшка прекращал свой стук именно от такой боли в ноге. Через несколько секунд раздавалось еще пять-шесть ударов, и затем в коридоре наступала напряженная тишь, или же угрюмое ворчание Якова смешивалось со скорбными выкрикиваниями еврея.

Чаще других приходилось дежурить в нашем коридоре старику надзирателю, давно, по-видимому, свыкшемуся с тюрьмой и ее обитателями. Казалось, старик обрел на этом месте то особого рода душевное равновесие, которое так облегчает жизнь и сношения с людьми во всякой профессии. Он имел вид человека, обладающего обстоятельным мирозерцанием, был философски спокоен и неизменно равнодушен, никогда не возвышал голоса, не бранил арестантов, не стеснял их без нужды. Он был надзиратель,— это было его общественное положение, налагавшее на него известные обязанности. Другие были арестанты,— это опять их общественное положение, также сопряженное с обязанностями. Каждый должен исполнять свои обязанности,

что значит: "веди себя с толком, поступай благородно, то есть не попадай на замечание начальства". Таковы были основы его философии, и он сумел провести их в жизнь подведомственного ему "отделения". Главное нравственное правило: "не попадай на замечание" -- проникало во все детали этой жизни. Сам старик Михеич двигался и действовал, не торопясь, как хорошо рассчитанная машина. Я никогда не видел, чтоб он препирался с арестантом из одиночки, когда тот просился "до ветру", как это делали другие надзиратели. Он просто шел на стук и отпирал двери. Зато, если Михеич отказывал в каком-нибудь облегчении, значит, у него была резонная причина, имеющая отношение к близости начальственного ока, и отказ был всегда решительный, безапелляционный. Когда, бывало, старый Михеич сидел на окне коридора и дремал, при чем из-под его папахи, вечно нахлобученной на самые брови, виднелись концы длинных усов и ястребиного носа, тихо и благосклонно "клевавшего" в спокойной дремоте, в коридоре подследственных воцарялась непринужденность и даже некоторая

развязность, конечно, в возможных для этого места пределах. Арестанты франтовато ходили с папиросами в зубах мимо философа-начальника, с очевидным знанием невозможности явиться в "эдаком виде" в другие часы дня. Это делало особенно драгоценной эту привилегию в данное время. Они уже сами смотрели в оба, чтобы не попасться в "эдаком виде" кому-нибудь из высшего тюремного начальства и не подвести старого Михеича, так как хорошо понимали, что в подобном ротодействе не заключается ни "толку", ни "благородства". Даже умалишенные чувствовали импонирующее влияние Михеичевой философии. Когда рулады сумасшедшего еврея, одержимого какою-то музыкальной манией, достигали чрезмерной напряженности и экспрессии, когда, казалось, его глотка скоро откажется производить какие бы то ни было звуки, а уши слушателей рисковали потерять всякую способность воспринимать их, Михеич спокойно слезал с окна, подходил к двери еврея и, стукнув связкой ключей, произносил ровным, спокойным голосом:

— Эй, ты, свиное ухо! По какой причине

раскричался? Вопрос звучал деловито, как будто вопрошавший допускал возможность существования какой-либо "причины", и даже название "свиное ухо" казалось просто необходимым собственным именем. Еврей смягчал экспрессию, понижал тон и издавал рулады, выражавшие очевидную готовность к компромиссу.

-- Нарукавники желаешь? -- спрашивал Михеич так же спокойно, и опять в вопросе слышалась возможность со стороны еврея такого неестественного желания.

-- Покричи еще,-- что ж, я и принесу нарукавники тебе... Это, брат, можно во всякое время...-- соглашался Михеич, и рулады еврея спускались до обычного диапазона.

-- Стекло-то опять зачем сожрал, а? Разве полагается тебе казенные стекла жрать? Видишь вот, вчера вставили, а ты опять слопал, свиное ухо! -говорил Михеич, выковыривая остатки дверного стекла, которое еврей, действительно, имел обыкновение разбивать и грызть зубами.

Урезонив еврея, Михеич снова направлялся к излюбленному месту на окне, где спина

его скоро прилипала к натертому жирному пятну косяка, а нос и усы принимали обычное положение. Еврей продолжал свои рулады, возвратившись к нотам, более свойственным человеческому голосу, или начинал что-то таинственно выстукивать в стену, как бы сообщая кому-то смысл сейчас слышанных слов.

Другой умалишенный, остяк Тимошка, помещавшийся в первой камере у входа в коридор подследственных, пользовался некоторым благорасположением Михеича. Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки.

— Тимошка тут, Тимофей, остяк... Набожный... Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится...

Я заглянул в оконце. Длинная узкая камера была еще мрачнее нашей, так как угловая стена примыкавшего здания закрывала в нее доступ свету. Вначале я не мог никого разглядеть среди этих темных стен, но вскоре увидел в углу, под самым окном, какую-то коленапоклоненную фигуру. Тимошка мерно по-

качивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу. На окне лежало что-то вроде шапки. Мебели, как и в других одиночках, не было, только рядом с болванчиками стояла "парашка". Остяк молился ровным, своеобразно-диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке, а иногда, нисколько не изменяя молитвенной интонации, произносил скверные ругательства, как будто и они составляли часть его культа.

-- Трех человек задушил руками,-- отрекомендовал мне его Михеич.-- Из себя невидный, а сила в ем ба-а-аль-шая!

-- А что это в углу у него расставлено? -- спросил я.

-- Идолы это... Бога... Ка-ак же! Сам делает. Сколько раз отымали, сейчас опять смастерит.

-- Чем же?

-- На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточен. А шапку видели... на окне у него лежит? Тоже сам

сшил. Окно-то у него разбито, чорт ему кошку шальную и занеси. Он ее сцапал, содрал шкуру зубами,— вот и шапка! Иголка тоже у него имеется, нитки из тюфяка дергает... Ну, зато набожен: молитвы получше иного попа знает. Бога у него свои, а молитвы наши... Молится, да!.. И послушен тоже... Тимошка, спой песенку! Тимошка прервал молитву, взял в руки палку и повернулся к Михеичу.

-- С барабаном? -- спросил он

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден.

-- Неуж без барабана, чудак! -- ответил Михеич. Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно-дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти.

-- Без конца у него песня эта,— заметил Михеич.— Теперь все будет петь, пока не скажу: довольно! Раз этак я забыл остановить его --

он и поет себе. Проверка пришла, смотритель и спрашивает: "Ты что делаешь?" -- "Песню, говорит, Михеич приказал петь". Право, послушный он!.. А тре-ех человек задавил руками. Ноги ему в сумасшедшем доме отшибли -- ходить не может. Зачинает мало-мало подыматься, да плохо. Видно, отстучали ловко!

-- Неужто в больнице у вас ноги отшибают? Ведь это...

-- Да уж это не так, чтобы превосходно, что и говорить. Опять же и зря: послушный он, остяк-то. Ему толком скажи -- он слушает. Только там это у них живо, в сумасшедшем-то доме: чуть что, пожалуй, не долго им, и совсем устукают. Этому стукальщику скоро вот то же будет,-- как-то недружелюбно мотнул Михеич головой в сторону Яшкиной двери.

В его голосе исчезли мягкие, благосклонные ноты, с какими он обращался к послушному Тимошке, давившему людей руками и сдиравшему шкуры с живых кошек. Очевидно, в глазах Михеича Яшка был хуже остяка.

Вообще этот странный субъект находился на каком-то особом, исключительном положении, и он интересовал меня все более и бо-

лее. В его стуке я, наконец, начал различать некоторую систему. Так, однажды, когда он вдруг загремел очень сильно, я увидел, что Михеич стал беспокойно озираться, как будто ожидая чьего-нибудь появления. Потом старик деловито обратился к Якову:

-- Что ты? Зачем? Никого ведь нету.

Яшка тотчас же смолк. Очевидно, он не просто стучал в пространство, а адресовал эти гремящие звуки чьему-нибудь слуху. Вскоре я убедился, что стуком этим он салютовал всякому начальству, начиная со "старшего надзирателя". Чем выше было начальство, тем, вообще говоря, громче были салюты. Ночью они раздавались значительно тише, точно Яшка стучал спросонок. Проснется он,-- так думалось мне,-- стукнет раза три-четыре и опять, исполнив эту обязанность, уляжется спать. Однажды только среди ночной тишины удары Яшки раздались точно гром канонады: на следующее утро оказалось, что ночью "на малом верху кержаки произвели немалую драку",-- стало быть, являлось высшее тюремное начальство.

Удары эти доставались Яшке не дешево.

"Ноги вовсе у него попухли,-говорил мне Михеич,- а все ведь нейметя".

На третий день нашего заключения мы потребовали у начальства, чтобы нас отпускали гулять, и нас приказано было отпускать "после поверки", когда остальные заключенные запираются в камеры на ночь. Это-то время я решил употребить для приобретения ближайшего знакомства с Яшкой.

II

Звонок. "Становись на поверку!"

В подследственном отделении все стихло. Где-то далеко, в третьем или четвертом коридоре, лязгнула дверь, послышались раскаты, точно рокот далекого наводнения. "Поверка" толпой ввалилась в наше отделение. Яшка принялся за свое дело.

Когда "поверка" обошла наши камеры и поднялась на "малый верх", Михеич отворил нашу дверь. Коридорный арестант подследственного отделения, Меркурий, исполняющий обязанности "парашечника", убирающий камеры и бегающий на посылках у "привилегированных" арестантов, явился в нашу камеру с самоваром. Пока "поверка" не ушла

совсем, Михеич просил нас для "порядку" не выходить в коридор.

Вот "поверка" сходит с лестницы. Наша дверь не затворена, и нам ясно слышны не только удары Яшки, но и его возгласы:

-- Беззаконники! -- кричал Яшка, когда "поверка" проходила мимо его двери.-- Пошто держите, пошто морите меня? Сказывайте, слуги антихристовы!

Я вспомнил надпись над Яшкиной дверью. Неужто,-- мелькнуло у меня в уме,-- это недо-разумение? Неужто этот человек, запертый, наглухо заколоченный в эту ужасную дыру, в этот гроб, вовсе не умалишенный и способен сознавать весь ужас своего положения?..

-- За что это Яшку держат в одиночке, да еще так строго? -- спросил я Меркурия.

-- Человека убил, каторжник беглый,-- вмешался Михеич тоном убежденного человека.

-- Не-ет,-- протянул Меркурий,-- что ты, Михеич! Что по-пустому говорить! Неизвестно это,-- обратился он ко мне.-- Звания своего, фамилии, например, он не открывает. Сказывают так, что за непризнание властей был со-слан. Убег ли, што ли, этого доподлинно не

могу знать...

-- Над его дверью написано, что он сумасшедший?

-- Приставляется,-- сказал Михеич, по-своему, кратко и утвердительно.

-- Не-ет... опять же и это... кто знает! Может, и не сумасшедший,-сказал опять Меркурий как-то уклончиво.-- Собственно, держат его в одиночке за непризнание властей, за грубость. Полицместер ли, кто ли придет, хоть тут сам губернатор приходи,-- он и ему грубость скажет. Все свое: "беззаконники да слуги антихристовы!" Вот -- через это самое... А то раньше свободно он ходил по всей даже тюрьме без препятствий...

-- А зачем он стучит?

-- И опять же, как сказать... Собственно для обличения!.. Меркурий ушел. Мы заварили чай и вышли "на прогулку" в коридор. Вдали, где-то в третьем коридоре, слышались еще шаги удалявшейся "поверки". У Яшкина оконца виднелись усы, часть бороды, конец носа. Яшка стоял неподвижно и будто чего-то ждал.

Вдруг дверь опять заколебалась от неистовых ударов.

-- Зачем ты это, Яков, стучишь? Кто тебя слышит? Ведь никого нет! -сказал я.

-- Эвона! -- отвечал Яшка серьезно, мотнув головой по направлению к окну коридора, через которое виднелся противоположный фасад расположенного четырехугольником здания и в нем сквозной просвет высокой двери, ведущей на другой двор.

В этом просвете маячила в сумерках фигура последнего солдата "поверки". Фигура вскоре исчезла. Яшка счел возможным прекратить стук и обратился ко мне.

Он нагнулся, чтобы окинуть меня внимательным взглядом из-за своего оконца. Мне все не удавалось увидеть его лица в целом. Теперь на меня глядели серые выразительные глаза, слегка лишь подернутые какою-то мутью, как у сильно утомленного человека. Лоб был высокий и по временам собирался в резкие -- не то гневные, не то скорбные -- складки. По-видимому, Яшка был высок ростом и очень крепко сложен. Лет, вероятно, было ему около пятидесяти.

-- Што будешь за человек? -- спросил он.-- Куда тебя гонят?

Я назвал себя и сообщил, куда меня гонят.

-- А тебя как зовут? -- спросил я.

-- Был Яков... Яковом звали.

-- А величают как? Родом откуда?

Яков взглянул на меня с каким-то подозрительным вниманием и, помолчав, ответил кратко:

-- Забыл (После я узнал, что родом он из Пермской губернии).

Понемногу мы разговорились.

Как арестант, содержащийся на особых правах, в "вольной одежде" и тому подобное, я представлял для Яшки явление не совсем обычное. Передо мною же был обыкновенный заключенный, говоривший сдержанно, ровно, вообще, в будничном настроении.

-- Беспокойно тебе,-- стучу я этто. Ничего, привыкнешь,-- говорил он, усмехаясь.-- Ночью тише же стучу я, не громко. На росписку сюда слуга-то антихристов является, так ему я это постукиваю.

-- Скажи мне, Яков, зачем ты стучишь? -- спросил я. Яков вскинул на меня своими большими глазами, и в голосе его, когда он отвечал, послышалась какая-то "обрядная"

важность:

-- Стою за бога, за великого государя, за христов закон, за святое крещение, за все отечество и за всех людей.

Я несколько удивился, что, по-видимому, не ускользнуло от внимания Якова.

-- Обличаю начальников,-- пояснил он,-- начальников неправедных обличаю. Стучу.

-- Какая же от этого польза?

-- Польза? Есть польза...

-- Да какая же? В чем?

-- Есть польза,-- повторил он упрямо.-- Ты слушай ухом: стою за бога, за великого государя...-- и он целиком повторил свою формулу.

Я понял теперь: Яков не искал реальных, осязательных последствий от своего стучания для того дела, за которое он "стоял" столь неуклонно среди глухих стен и не менее глухих к его обличениям людей; он видел "пользу" уже в самом факте "стояния" за бога и за великого государя, стало быть, поступал так "для души".

-- А за что тебя держат? -- спросил я далее.

-- За что?.. Беззаконники! -- заговорил Яшка и возбужденно завопил за своею две-

рю.-- За что держат? Скажи вот: безо всякого преступления... Нет моего преступления ни в чем. А и было бы преступление, так разве им судить?.. Бог суди!

-- Человека ты убил,-- сказал Михеич, внимательно слушавший наш разговор.-- Пошто пристаешься?

-- Неправда, неправда,-- заговорил Яшка каким-то страдальчески-возбужденным голосом.-- Ишь чего выдумали, беззаконники! Неправда, не верь им, Володимер, не верь слугам антихристовым. Нет моего никакого преступления. Отрекись, вишь, от бога, от великого государя, тогда отпустим. Где же отречься?.. Невозможно мне. Сам знаешь: кто от бога, от истинного прав-закону отступит,-- мертв есть. Плоть-то он живет, а души в нем живой нету...

В это время из темного коридора, под прямым углом примыкавшего к нашему, показалась маленькая фигурка в сером пальто с медными пуговицами. Я узнал "старшего". Седая тюремная крыса точно выползала из норы за добычей. Старик крался, прижимаясь вдоль стены, чтобы Яшка не мог его увидеть из сво-

ей конурки. В руках у него были тетрадь и карандаш. Каждый вечер он клал эту тетрадь на окно коридора и ночью обязан был несколько раз написать в ней: "был в таком-то часу". В эти-то часы и раздавалось тихое постукивание Яшки.

-- Отопри "малый верх",-- шепнул Михеичу "старший", быстро шмыгнув мимо Яшкиной двери.

Михеич стал тихо снимать засов с дверей, которые вели на лестницу с надписью: "Вход на малый верх". На этом "верху" находилась особая воровская колония. О ней так и говорили:

"Нонче в воровской драка приключилась".-- "Воры-то ночью за картами развозились". Этот "верх" не даром носил название "малого". Дело в том, что тюрьма была рассчитана на число жителей чуть не на половину менее того, какое в ней находилось в действительности. Пришлось поэтому пуститься на хитрости, и вот губернская архитектура кое-как приляпала к высоким камерам новые потолки, значительно их понизившие и послужившие полом для "малого верха". Часть

высоких окон, отхваченная этими антресолями, пришлась, таким образом, в "малом вер-ху" и получила назначение снабжать его светом. Нечего говорить, что назначение это исполнялось далеко не удовлетворительно, и воровской "малый верх" представлял помеще-ние, совершенно невозможное в гигиени-ческом отношении.

-- Тут у вас ничего еще, -- говорил мне Мер-курий о наших помещениях.-Тут и хорошему, образованному человеку прожить мало-мало можно... А вот в воровской -- не приведи гос-поди! Вонько, темно, сыро... Чистая смерть!..

Чтобы несколько вознаградить за отсут-ствие воздуха и света, начальство тюрьмы да-ло вора́м некоторые льготы. Они, например, не запирались по камерам и ночью, так как даже при сибирских взглядах на правила ги-гиены оказалось невозможным ставить у во-ров на ночь зловонные "парашки". Таким об-разом, начав задыхаться в одной камере, жи-лец воровского "малого верха" мог для разно-образия отправиться задыхаться в другую. Как бы то ни было, "малый верх" вознаграж-дал за некоторые неудобства жилища широ-

ким развитием общественности. По ночам оттуда слышался шумный говор, по временам неслись отчаянные крики. Тогда призывалось начальство, иногда даже военный конвой, и расшумевшиеся "воры" накрывались за картежом или пьянством, подобно разодравшимся воробьям, которых берут руками мальчишки.

Итак, Михеич стал тихо снимать засов, и "старший", расписавшись в тетради, опять было прошмыгнул мимо Яшкиной двери, направляясь на лестницу. "За водкой...-- шепнул мне Михеич: -- воры в карты дуются, водку пьют... накроет".

Но в этот критический момент, когда старый тюремный хищник стал подниматься на лестницу, Яшка, каким-то чутьем угадавший присутствие одного из "беззаконников", внезапно загремел своею дверью. Старик вздрогнул, точно ошпаренный. Я ясно представил себе, как болезненно задело его напряженные нервы это неожиданное громовое вмешательство. Он подпрыгнул на месте, точно его захлопнуло западней, заерзал, попытался было броситься на верх, но, сообразив, что дело по-

теряно, и воры успели все припрятать, возвратился назад.

-- Запри! -- изнеможенно обратился он к Михеичу.-- О, Яшка, Яшка! -прошипел он, обращаясь к дверям.-- Кажется, ежели мог бы, вот как бы тебя растер, проклятого, вот как!..

Он сжал свои кулачонки и стал их тереть друг о друга, как бы воображая, что Яшка находится между ними и испытывает процесс растирания.

Яшка появился у своей двери, очевидно, довольный, что удар, направленный во имя господне чисто наудачу, попал в цель так метко.

-- Не любо тебе, беззаконник? -- гремел он вдогонку.-- Долго ли держать меня будете, слуги антихристовы?..

-- Пос-с-той, пог-год-ди! -- шипел "беззаконник", пораженный в наболевшее место, и бросал при этом на нас косвенные взгляды, как будто между нашим присутствием и необходимостью для Яшки "погодить" была некоторая необъяснимая связь.

Смысл этого "погоди" был совершенно ясен: Яшка был во власти этой старой тюрем-

ной крысы, один, без союзников, и, тем не менее, он жестоко измучил того, от кого вполне зависел. А он именно его измучил. Для меня стала очевидною та странная связь, которая установилась между Яшкой, запертым в одиночке, и державшими его "беззаконниками". Казалось бы, заперли Яшку -- и делу конец, его можно игнорировать. Но он успел своим неукротимым протестом раздражить их нервы, натянуть их до болезненной восприимчивости к этому стуку, и торжествовал над связавшими его по рукам и по ногам врагами. Побежденный физически, он считал себя не сдавшимся победителю, пока еще "господь поддерживает его" в единственно возможной форме борьбы: "Стучу вот". В этом он видел свою миссию и свое торжество.

-- И всегда так-то: стучит без толку... Уж именно что без пользы, один вред себе получает...-- говорил Михеич, запирая ход на лестницу.-- Что толку в стуке? Ну, вот, заперли его, в карцере сколь перебивал, нарукавники надевали,-- все нейметя. Погоди,-- обратился Михеич к Яшке,-- в сумасшедший дом свезут, там недолго настучишь! Там тебя устукают

получше Тимошки.

-- Хоть куда отдавай, все едино! Меня не испугаешь,-- отвечал Яшка. -Я за бога, за великого государя стою, -- за бога, слуги антихристовы, стою! Слышишь? Думаете: заперли, так уж я вам подвержен? Не-ет! Стучу, вот, слава-те, господи, царица небесная... поддерживает меня бог-от! Не подвержен я антихристу.

-- Нарукавники тебе... связать тебя, стучальщика, да и держать этак... Не стал бы стучать...

Осенние сумерки, выползая из углов старой тюрьмы, все более и более сгущались в коридорах.

-- На молитву пора,-- сказал мне Яков,-- прощай! Он отошел от двери и, когда я, спустя некоторое время, взглянул в его оконце, он уже "стоял на молитве". Его окно было завешено какими-то тряпками, сквозь которые скудно прорывался полусвет наступающего вечера. Фигура Яшки рисовалась на этом просвете черным пятном. Он творил крестные знамения, причем как-то судорожно, резко подавался туловищем вперед и затем подымался несколько тише. Его точно "дергало".

Мы с товарищем прохаживались по темнеющим коридорам. Подходя к Тимошкиной двери, мы слышали мерное, точно заупокойное чтение. Из двери еврея вместе с дикими, стонущими звуками неслись убийственные миазмы. В соседней с ним камере каторжник, помещенный сюда опять-таки за недостатком места, совершал свою обычную прогулку, гремя кандалами, а наверху гоготали и шумно возились воры. Остальные камеры хранили безмолвие наступающего сна. Двое бродяг, сидевших вместе, варили что-то в печурке. Это, очевидно, были любители "очага". Весь день употребляли они на розыски щепок и всякой дряни, которую подбирали на тюремных дворах, на последние деньжонки покупали "крупок" и вечером, когда всех запирали, они разводили в своей печке огонь. В эти минуты я иногда подходил к их двери и тихонько заглядывал в нее так, чтобы не нарушить их мирного наслаждения. Один, суровый бродяга, лет за сорок, сидел прямо против печки, обхватив колени руками, внимательно следя за огнем и за маленьким горшочком, в котором варилась крупа. Другой приволакивал к печ-

ке свой тюфяк и ложился на него лицом к огню, положив подбородок на руки. Это был почти еще мальчик, с бледным, тюремного цвета лицом и большими выразительными глазами. Он, очевидно, мечтал. Огонек потрескивал, вода в горшочке шипела и бурлила, а в камере царило глубокое молчание. Бродяги точно боялись нарушить музыку импровизированного очага тюремной каморки... Затем, когда огонек потухал и крупа была готова, они вынимали горшок и братски делили микроскопическое количество каши, которая, казалось, имела для них скорее некоторое символическое, так сказать, сакраментальное значение, чем значение питательного материала.

В самой крайней камере, служившей как бы продолжением коридора, жильцы беспрерывно сменялись.

Эта камера не отличалась от других ничем, кроме своего назначения, да еще разве тем, что в ее дверях не было оконца, которое, впрочем, удовлетворительно заменялось широкими щелями. Заглянув в одну из этих щелей, я увидел двух человек, лежавших в двух

концах камеры, без тюфяков, прямо на полу. Один был завернут в халат с головою и, казалось, спал. Другой, заложив руки за голову, мрачно смотрел в пространство. Рядом стояла нагоревшая сальная свечка.

-- Антипка! -- заговорил вдруг последний и, вздрогнув, точно от прорвавшейся тяжелой, мучительной мысли, сел на полу.

Другой не шевелился.

-- Антипка, ирод!.. Отдай, слышишь... Думаешь, вправду у меня пятьдесят рублей?.. Лопни глаза, последние были... Антипка притворился спящим.

-- У-у, подлая душа! -- произносит арестант и изнеможенно опускается на свое жесткое ложе; но вдруг он опять подымается со злобным выражением.

-- Слышь, Антипка, не шути, подлец! Убью!.. Ни на што не посмотрю... Сам пропаду, а уж пришью тебя, каиново отродье.

Антипка всхрапывает сладко, протяжно, точно он покоится на мягких пуховиках, а не в карцере рядом со злобным соседом; но мне почему-то кажется, что он делает под своим халатом некоторые необходимые приготовления.

ния.

-- Кержаки это... разодрались ночесь на малом верху,-- поясняет мне Михеич,-- вот смотритель в карцер обоих и отправил. Антип это деньга, што ли, у Федора украл. Два рубля денег, сказывают, стянул.

-- Как же это их вместе заперли? Ведь они опять раздерутся?

-- Не раздерутся, -- ответил Михеич, многозначительно усмехнувшись.-Помнят!.. Наш на это-- беда, нетерпелив! "Посадить их, говорит, вместе, а подеретесь там, курицыны дети, уж я вам тогда кузькину мать покажу. Сами знаете..." Знают... Прямо сказать: со свету сживет. В та-акое место упрячет... Это что? -- только слава одна, что карцером называется. Вон зимой карцер был, то уже можно сказать. Сутки если в нем который просидит, бывало, так уж прямо в больницу волокут. День поскрипит, другой, а там и кончается.

Мне привелось увидеть этот карцер, или, вернее, не увидеть, а почувствовать, ощутить его... Мне будет очень трудно описать то, что я увидел, и я попрошу только поверить, что я, во всяком случае, не преувеличиваю.

На квадратном двореке по углам стоят четыре каменные башенки, старые, покрытые мхом, какие-то склизкие, точно оплеванные. Они примыкают вплоть ко внутренним углам четырехугольного здания, и ход в них -- с коридоров. Проходя по нашему коридору, я увидел дверь, ведущую, очевидно, в одну из башенок, и наш Меркурий сказал мне, что это ход в бывший карцер. Дверь была не заперта, и мы вошли.

За нами в коридоре было темно, в этом помещении -- еще темнее. Откуда-то сверху сквозил слабый луч, расплывавшийся в холодной сырости карцера. Сделав два шага, я наткнулся на какие-то обломки. "Куб здесь был раньше,-- пояснил мне Меркурий,-- кипяток готовился, сырость от него осталась,-- беда! Тем более, печки теперь не имеется..." Что-то холодное, пронцающее насквозь, затхлое, склизкое и гадкое составляло атмосферу этой могилы... Зимой она, очевидно, промерзала насквозь... Вот она -"кузькина-то мать"! -- подумал я.

Когда я, отуманенный, вышел из карцера, тюремная крыса, исполнявшая должность

"старшего", опять крадучись, ползла по коридорам отбирать от надзирателей на ночь ключи в контору, и опять Яшка бесстрашно заявлял ей, что он все еще продолжает стоять за бога и за великого государя..

"О, Яшка,-- думал я, удаляясь на ночь в свою камеру,-- воистину бесстрашен ты человек, если видал уже "кузькину мать" и не убоился!.."

III

-- Отчего у Яшки в камере так темно и холодно? -- спросил я, заметив, что в его камере темно, как в могиле, и из его двери дует, точно со двора.

-- Рамы, пакостник, вышибает,-- ответил Михеич.-- Беспокойный, беда!.. А темно потому, что снаружи окно тряпками завешано, -- от холоду. Стекла повышибет, тряпками завесит,-- все теплее будто!.. Ну, не дурак? "Для бога, для великого государя". Кому надобность, что у тебя стекол нет...

И Михеич презрительно пожал плечами.

С тем же вопросом я обратился к Яшке.

-- Видишь ты,-- серьезно ответил он,-- беззаконники хладом заморить меня хотят, по-

тому и раму не вставляют.

-- Зачем же ты ее вышиб?

-- Не вышиб я, нет!.. Зачем вышибать?.. Вижу: идут ко мне слуги антихристовы людно. Не с добром идут -- с нарукавниками. Сам знаешь: жив человек смерти боится. Я на окно-то от них... за раму-то, знаешь, и прихватился. Стали они тащить, рама и упади... Вот!.. Что поделаешь. Согрешил: нарукавников испужался...

Несколько слов об этих нарукавниках.

Идея нарукавников -- идея целесообразная и, если хотите, даже гуманная. Чтобы буйный или бешеный субъект не мог нанести своими руками вред себе или другим, руки эти должны быть лишены свободы действия с возможным притом избежанием членовредительства. Для этой цели надеваются крепкие кожаные рукава, коими руки притягиваются к туловищу. Чтобы удержать их в этом положении, рукава стягиваются двумя крепкими ремнями, которые двумя кольцами охватывают спину и грудь. В чистом виде идея нарукавников имеет только предупредительный характер, и если Михеич грозит ими, как чем-

то наказующим и мстящим, то это свидетельствует еще раз печальную истину, что грубая действительность искажает всякие идеи. Надо, впрочем, сознаться, что этому искажению в весьма значительной мере способствует самое устройство нарукавников, легко допускающее возможность многих "преувеличений". Пряжки, например, стягивающие ремни, могут быть затянуты в меру, не более того, сколько требуется самой идеей притяжения рук к ребрам, но они также могут быть затянуты и с преувеличением, причем пострадают и ребра (Я не говорю уже о заведомых посягательствах на самое устройство нарукавников. Бывают и такие. Так, например, иногда к ним прибавляют еще ремень, притягивающий шею книзу. Это ничем не оправдаемое прибавление дает в результате уже несомненное членовредительство. Я знал здорового парня, у которого после пятичасового пребывания в нарукавниках с этим добавлением кровь бросилась горлом, и грудь оказалась радикально испорченной). Если принять в соображение, что редко -- вернее, никогда -- субъект не обнаруживает стремления

надеть их добровольно и что, стало быть, их надевают силой, то станет понятно, почему Яшка приравнивал процесс надевания нарукавников к смерти.

IV

Среда арестантов относилась к Якову довольно равнодушно. Был, впрочем, один остроумец, приходивший чуть не ежедневно изодрать на заключенном "в темнице" (на этот раз употребляю это выражение в буквальном значении) свое тяжелое скоморошество.

Это был один из тех остроумцев, каких много и не в остроге. Субъект этот наложил, по-видимому, на себя тяжелый искус развлекать публику балагурством, в котором было очень мало юмора, еще меньше веселья и уж вовсе не было смысла. Это было просто какое-то напряженное словоизвержение, подерживаемое с усилием, достойным более веселого дела, по временам оскудевавшее и вновь напрягаемое, пока, наконец, сам остроумец не впадал от этих усилий в некоторое яростное исступление. Впрочем,— добрая душа у русского человека,— слушатели находи-

ли возможным награждать бескорыстное "старание" вялым смехом.

Яшка почему-то считал нужным делать этому скомороху принципиальные возражения, громил слуг антихриста, ссылаясь на авторитет "енерал-губернатора" (который, по его убеждению, стоял за него, хотя почему-то безуспешно), вообще, метал свой бисер, попиравшийся самым бестолковым образом.

-- Енерал-губернатор! -- грохотал остроумец сильным голосом настоящего пропойцы.-- Вишь, чем удивить вздумал! Мы и сами в настранницких племянниках состоим... Хо-хо-хо! Не слыхивал еще, так слушай, развесь уши-то пошире. А то с енерал-губернатором выехал. Ха-ха-ха!

Когда Яков замечал, что возражения "настранницкого племянника" являются одним сквернословием, то он плевал и уходил от греха. Но "настранницкий племянник", успевший достаточно раскалиться на огне собственного остроумия, начинал бить ногою в Яшкину дверь, мешая Яшке "стоять на молитве". К этому присоединялся обыкновенно пронзительный голос музыкального еврея,

сочувственно откликавшегося на всякие сильные звуки, и в результате выходил такой раздирательный концерт, что Михеич просыпался у своего косяка и укрощал разбушевавшегося "настранницкого племянника". Тот удалялся, впрочем, весьма довольный собою. Зрители тоже расходились, зевая и вяло поощряя остроумца: "Молодец, Соколов! За словом в карман не полезет!"

Были, однако, некоторые признаки, указывавшие, что где-то в остроге, среди этих однообразных серых халатов, в грязных камерах, у Яшки были если не союзники, то люди, понимавшие подвиг неуклонного стучания и сочувствовавшие его "обличениям". Однажды, проходя по коридору, я увидел у Яшкиной двери высокого старика в арестантском сером халате. У него были седые волосы и серьезное лицо, суровость которого несколько смягчалась каким-то особенным "болезненным" выражением. В отношении к Якову он держался с видимым уважением. Они о чем-то разговаривали у оконца негромко и серьезно.

-- Верно тебе сказываю, -- говорил Якову старик. -- Ефрем решен, и Сидор тоже решен.

Сказывают, в свою губернию по этапу отправлять будут... А твое, вишь, дело...

Конца фразы я не расслышал. Когда я проходил обратно, Яков, с которым я уже был знаком довольно близко, указал на меня, и старик поклонился, но затем опять припал к окошечку. Мне не удалось более увидеть этого арестанта. Очевидно, он заходил сюда из какого-нибудь другого отделения.

Однажды я дал коридорному денег, прося купить Якову, что ему нужно. Тот не понял и передал деньги непосредственно. После этого Яков остановил меня, когда я проходил по коридору.

-- Слышь, Володимер, -- сказал он. -- Спасибо тебе. Милостинку ты христову сотворил, дал коридорному для меня... Да, видишь вот: не беру я их. Прежде, на миру, грешил, брал в руки, а теперь не беру! Вот они тут на полу и валяются. А ты хлебную милостинку сотвори! Из теплых рук хлебная милостинка благоприятнее. Ироды-то меня на полуторной порции держат. Сам знаешь, что в ей, в полуторной-то порции... Просто сказать, что голодом изводят. Ну, да не вовсе еще бог от меня отсту-

пился,— добрые люди поддерживают: вчера кто-то два ярушничка спустил на веревочке сверху-то. Спасибо, не оставляют православные христиане.

Как бы то ни было, хотя эти факты указывают на некоторое сочувствие среды, тем не менее, в самые страшные минуты, когда живая Яшкина душа содрогалась от дыхания близкой смерти и заставляла его судорожно хвататься за рамы и за холодные решетки тюремного оконца,— в эти минуты душу эту, несомненно, должно было подавлять сознание страшного, ужасающего одиночества...

Был ли Яшка сумасшедший? Конечно, нет. Правда, сибирская психиатрия решила этот вопрос в положительном смысле, и Яшке предстояло вскоре испытать те же упрощенные приемы лечения, какие испытал остяк Тимошка. Тем не менее, я не сомневаюсь, что Яшка был вовсе не сумасшедший, а подвижник.

Да, если в наш век есть еще подвижники строго последовательные, всем существом своим отдавшиеся идее (какова бы она ни была), неумолимые к себе, "не вкушающие идо-

до-жертвенного мяса" и отвергнувшиеся всецело от греховного мира, то именно такой подвижник находился за крепкою дверью одной из одиночек подследственного отделения.

-- Есть семья у тебя? -- спросил я однажды Якова.

-- Была...-- ответил он сурово.-- Была семья у меня, было хозяйство, все было...

-- А теперь живы ли дети твои?

-- Бог знает... Как бог хранит... Не знаю...

-- Тоскливо, должно быть, за своими тебе, за домашними? Может, письмо тебе написать?

-- Нет, не тоскливо, -- мотнул он головой, как бы отбиваясь от тягостных мыслей.-- Одно вот разве: как бы им устоять, от прав-закону не отступить,-- об этом крушусь наипаче...

Несколько времени он сурово молчал за своею дверью.

-- На миру душу спасти,-- проговорил он задумчиво,-- и нет того лучше... Да трудно. Осилит, осилит мир-от тебя. Не те времена ноне... Ноне вместе жить, так отец с сыном, обнявши, погибнет, и мать с дочерью... А душу не соблюсти. Ох, и тут трудно, и одному-те... ах,

не легко! Лукавый путает, искушает... ироды смущают... Хладом, гладом морят. "Отрекись от бога, от великого государя"... Скорбит душа-те, -- ох, скорбит тяжко!.. Плоть немощная прискорбна до смерти.

Тем не менее, легче было бы даже Михеича совратить с пути, на котором он обрел свое прочное душевное равновесие, чем заставить Яшку свернуть с тернистой тропинки, где он встречал одни горести... Казалось, он не доступен ни страху, ни лести, ни угрозе, ни ласке.

Как-то однажды, в прекрасный, но довольно холодный день поздней уже сибирской осени, Яшка к обычным своим обличениям во время поверки прибавил новое:

-- Пошто меня хладом изводите, пошто раму мне, слуги антихриста, не вставляете?

На следующий день была вставлена рама. Теплее и светлее стало в комнате Яшки, но вечером он стучал столь же неуклонно.

Эта черная неблагодарность поразила "его благородие" до глубины возмущенной души.

-- Подлец ты, Яшка, истинно подлец! -- произнес смотритель укоризненно, остановив-

шись против Яшкиной двери.-- Я тебе раму вставил, а ты опять за прежнее принимаешь-ся.

-- Беззаконник ты! -- загремел Яшка в ответ.-- Что ты меня рамой обвязать, что ли, хочешь?.. Душу рамой купить?.. Нет, врешь, не обвязал ты меня рамой своей, еще я тебе не подвержен. Для себя раму ты вставил, не для меня. Я без рамы за бога стоял и с рамой все одно постою же...

И дверь загремела бодрою частою дробью.

-- Слыхал? -- говорил мне после этого Яшка с глубоким презрением. -Беззаконник-то на какую хитрость поднялся? Раму, говорит, вставил,-- за раму отступишь от бога, от великого государя!.. Этак вот другой ирод из начальников тоже меня сомуцал!.. Калачами!.. Привели меня с партией в Тюмень. Смотритель купил два калача, подает милостинку, да и говорит: "Вот, баает, тебе Христова милостинка, два калача,-- только уж ты меня слушайся. У меня чтоб в смирении"... Слыхал? -- "Милостинку я, мол, возьму. Она Христовым именем принимается... Хоть сам сатана принеси, и от того возьму... А тебе, беззаконнику, я не

подвержен". Н-е-ет! Меня лестью не купишь. Слава тебе, господи, поддерживает меня царица небесная. Стучу вот!..

Что же это за "прав-закон", за который Яшка принимал свое страсготерпство?

Привелось мне как-то писать официальное заявление, для чего я был вызван в тюремную контору. Меня посадили за стол, дали бумагу, перо и предоставили сочинять мое заявление под шум обычных конторских занятий. В это время "принимали новую партию". Письмоводитель выкликал по списку арестантов и опрашивал их звание, лета, судимость и так далее. Смотритель сидел тут же и рассеянно посматривал на принимаемых. Во всем этом было мало интересного для его благородия; для меня -- тем более, поэтому я сочинял свое заявление, не обращая внимания на происходившее.

Но вот монотонный разговор стал оживленнее. Я поднял глаза и увидел следующую картину.

Перед столом стоял человек небольшого роста в сером арестантском халате. Наружность его не отличалась ничем особенным.

Казалось, он принадлежал к мелкому мещанству, к тому его слою, который сливается в маленьких городах и пригородах с серым крестьянским людом. Вид он имел равнодушный, пожалуй, можно бы сказать -- апатичный, если бы, порой, по лицу его не пробежала чуть заметная саркастическая улыбка, а в глазах не вспыхивал огонек какого-то сознательного превосходства или торжества. Но эти проблески были едва уловимы; они пробежали, на мгновение оживляя неподвижные черты, на которых тотчас опять водворялось выражение вялости. В передней толпились арстанты. Видимо заинтересованные ходом опроса, они тянулись друг из-за друга, вытягивая шеи и следя за разговором сотоварища с начальством.

-- Ты что ж не говоришь? -- кипятился письмоводитель.-- Что молчишь? Ты ведь мещанин из Камышина? Ведь тут, в твоём стаейном списке, написано ясно. Вот!

Письмоводитель ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумагу и поднес ее к носу арстанта. Тот презрительно отвернулся, и огонек в его глазах вспыхнул сильнее.

-- И ладно, коли написано,-- произнес он спокойно.

-- Да ты должен отвечать. Веры какой?

-- Никакой.

Смотритель быстро повернулся к говорившему и посмотрел на него выразительным долгим взглядом. Арестант выдержал этот взгляд с тем же видом вялого равнодушия.

-- Как никакой? В бога веруешь?

-- Где он, какой бог?.. Ты, что ли, его видел?..

-- Как ты смеешь так отвечать? -- набросился смотритель.-- Я тебя, сукина сына, сгною!.. Мерзавец ты этакой!

Мещанин из Камышина слегка пожал плечами.

-- Что ж,-- сказал он.-- Было бы за что гнать-то. Я прямо говорю... За то и сужден.

-- Врешь, мерзавец, наверное, за убийство сужден. Хороша, небось, птица!

Мещанин из Камышина сделал было движение, как будто хотел возражать, но через мгновенье опять повел плечами...

-- Там судите, за что сами знаете.

-- Какой твой родной язык? -- продолжает

письмоводитель опрос по рубрикам.

-- Что еще? -- спрашивает опять меццанин с пренебрежением.-- Какой еще родной?.. Не знаю я....

-- Ах, ты, подлец! Ведь не по-немецки же ты говоришь? По-русски, чай?

-- Слышите сами, по-каковски я говорю.

-- Слышим-то мы слышим, да мало этого. Пиши ты, анафема! Надо знать: русский ты или чуваш, мордва какая-нибудь. Понял?

-- Чего понимать?.. Не знаю,-- решительно отрезал меццанин из Камышина.

Письмоводитель убедился, что с камышинским меццанином ничего не поделаешь, и камышинский меццанин был отпущен. При этом смотритель сделал многозначительное обещание:

-- погоди,-- сказал он, провожая атеиста своим тюремным взглядом.-- Мы еще с тобой, дружок, потолкуем на досуге. Авось, разговоришься.

От этих слов мне вчуже стало жутко. Арестант только пожал плечами...

Когда я дописал свою бумагу и вышел из конторы, опрос партии еще не был окончен, и

в передней толпились арестанты. Они кучкой обступили камышинского мещанина, который стоял среди них с тем же видом вялого равнодушия, хотя, очевидно, находился в положении героя минуты.

-- Как же это, чудак! -- говорил какой-то рыжеватый философ, с тузом на спине. -- Пра-а, чудак! Ведь ежели сказываешь к примеру: "бога нет", так что же есть, по-твоему? А?

-- Ничего! -- отрезал тот коротко и ясно.

"Ничего!" Выходит, что камышинский мещанин сужден, осужден, закован, сослан, готовится принять неведомую меру мучений из-за... ничего! Казалось бы, к тому, что характеризуется этим словом "ничего", можно относиться лишь безразлично. Между тем, камышинский мещанин относится к нему страстно, он является подвижником чистого отрицания, бесстрашно исповедуя свое "ничего" перед врагами этого учения.

Яшка начертал на своем знамени другую формулу: "За бога, за великого государя!.." Он был сектант, приверженец "старого прав-закону", но когда я, вернувшись из конторы, проходил мимо его двери, невольная мысль

поразила мое воображение: как много общего между этими двумя исповедниками! Яшка порвал свои связи с родиной, с семьей, с родной деревней. Камышинский мещанин сделал то же и даже словом не хочет признать эту связь, когда она ясно установлена на бумаге. "Я вам не подвержен",-- говорит Яшка. Камышинский мещанин тоже, очевидно, не признает власти, которой он обязан повиновением. "Нет моего преступления ни в чем,-- говорит Яшка,-- а и было преступление, так не вам судить -- богу!" "Судите, за что знаете",-- говорит камышинский мещанин, не желая даже косвенно принять участие в процессе этого суждения. Но в то время как камышинский мещанин скептически вопрошает: "Какой бог, и кто его видел?" -- Яшка производит неуклонное стучание во имя господне.

Кто же это: непримиримые враги, или союзники? Однородные ли это явления, или явления разных порядков? Что тут существеннее: пункты сходства или пункты разногласия,-- общее у обоих отрицание существующих условий или религиозно-сектантские взгляды, которые есть у Якова и которые из-

гнал из своего обихода камышинский мещанин?

У Якова, по-видимому, было положительное мирозерцание, основами которого являлись "бог и великий государь". Но это была какая-то странная смесь мифологии и реализма! Несуществующие безбожники, направляемые несуществующими министрами Финляндцевыми (министр финансов), заполняют мир, ловят души, требуют отречения "от бога, от великого государя". И рядом -несомненно существующее, самое реальное страдание, несомненное гонение за дело, которое Яшка считает правым, сознательная готовность погибнуть и -страшно подумать -- полная возможность такого исхода... Яшка предсказывает это на основании своей фантастической теории, а Михеич подтверждает как несомненную позитивную истину. "Этому стукальцику то же будет, что и Тимошке, а то похуже"...

Для камышинского мещанина "ничего" означает отсутствие всякой цели и смысла в жизни. По мнению Якова, все в мире клонится к злу. Было уже три "сменения"... Какие?

Яшка имеет об них лишь смутные понятия.

-- Видишь вот,-- ответил он на мой вопрос об этих сменениях.-- Читал я в "Сборнике", да, видно, запомнил. Первое -- Рим отпал... Раз... Второе -- Византия будто... Два. Ну, третье -- московское. Ноне идет четвертое -горше первых. С шестьдесят первого году началось.

-- Какое же?

-- Какое? Ты теперича как пишешься? -- неожиданно спросил у меня Яков.

Я не знал, как я пишу, но Яков ответил за меня сам:

-- Ты теперь пишешься: бывший государственный крестьянин. Понимай: бывший! Значит, был -- да нету. Вот какое сменение!.. Земское сменение пошло, гражданские власти пошли. Государственных отменили.

С шестьдесят первого года мир резко раскололся на два начала: одно -государственное, другое -- гражданское, земское. Первое Яшка признавал, второе отрицал всецело без всяких уступок. Над первым он водрузил осьмиконечный крест и приурочил его к истинному прав-закону. Второе назвал царством грядущего антихриста.

-- Что же, Яков: под гражданскими-то властями тяжелее, что ли?

-- Как не тяжелее! Жить стало не можно. Ранее государевы подати платили, а ноне земские подати окромя накладывают... на тех, кто им, значит, подвержен.

-- Ты податей не платишь? -- спросил я, начиная догадываться о ближайших причинах Яшкина заключения.

-- Государственные платим. Сполна великому государю вносим. А на земские мы не обязались. Вот беззаконники и морят, под себя приневоливают. Кресты с церковей посяли.

-- Ну, кресты-то на церквах есть.

-- Не настоящие... Настоящих не стало... И крещение не настоящее-щепотью... Все их дело, их знамение.

-- Пстой, Яков! Как это ты рассудишь: ведь и великий государь в те же церкви ходит?

-- Великий государь,-- ответил Яшка тоном, не допускающим сомнения,-- в старом правзаконе пребывает... Ну, а царь Польский, князь Финляндский... тот, значит, в новом...

Оказывалось, что будущее принадлежит

новым началам. Уступая давлению этих начал, великий государь издал циркуляр, в котором написано: "Быть по тому и быть по сему", что значит: кого успеют слуги антихриста заманить,-заманивай. Над теми он властен, на тех подати налагай и душами владей. А кто не обязался, кто в истинном прав-законе стоит крепко, того никто не смеет приневолить.

Новые начала берут силу все более и более. "Беззаконники" пошли против какого-то циркуляра и стали под свою руку приневоливать насильно. Становится все труднее... Пущены в ход всякие средства...

-- На тридцать на шесть губерен пущено тридцать шесть лисиц. Честью да лестью все пожгут... народу погубят-- страсть!..

Нигде нет защиты. Государственное начало с осьмиконечным крестом меркнет. Государственные власти "стоят плохо". Народ подается, не видя опоры. "Пишутся, правда, циркуляры-те, да что уж..." Суды пошли гражданские, тихие...

Тихие суды с шестьдесят первого года, то есть именно с тех пор, как в жизнь стала

вторгаться гласность! Я не утерпел и попытался разрушить Яшкину фантасмагорию, для чего стал излагать основания нового гласного судопроизводства. Яков слушал довольно внимательно.

-- Постой,-- перебил он меня наконец.-- Думаешь, я не сужден? Сужден, как же! Безо всякого преступления судебною палатою сужден. Не признаю я ихнего... Ну, все же-- судили. Вот набольший-то судья и говорит мне: "Не найдено твоей вины ни в чем. Расступитесь, стража!.. От суда-следствия оправлен". Ну, думаю, вот меня на волю выпихнут, вот выпихнут... А они тихим-то судом эвона выпихнули куда!

Я понял: суд гласно оправдал Якова, администрация его выслала... Яшка полагает, что гласный приговор -- хитрость антихриста, что, кроме этого приговора, был еще другой, тихий. "Видишь вот, на каки хитрости идет". И все это, конечно, имеет определенную цель: судебная палата, министры, губернаторы, тюремный смотритель, Михеич... все они в заговоре, чтобы предать антихристу Яшкину душу...

Вследствие всего этого на миру "жить ста-

ло не можно". "Вместе отец с сыном, обнявши, погибнет". Общественные связи нарушены. Приходится душу блюсти в одиночку, вразброд. Победа "слугам антихриста" почти обеспечена. Бросил Яшка семью, бросил хозяйство, бросил все, чем наполнялась его труженическая земледельческая жизнь, и теперь он один во власти "беззаконников".

-- И пошто только мучают? -- удивляется Яшка. -- Невозможно мне от истинного правозакону отступить. Не будет этого, нет! Наплюю я им под рыло. Вот взял -- приколот, только и есть, а то... морят попусту! -- Он был вполне уверен, что если до сих пор его еще "не приколот", то лишь потому, что живая Яшкина душа доставит антихристу большее удовольствие.

Но даже и это положение казалось Яшке лучше того, которое ожидает "на миру" всех, принявших печать антихриста. Новые порядки грозят всеобщею неминуею бедой.

-- Что дальше, то и хуже будет. Худа ждать надо, добра не видать,-- в "Сборнике" писано... Земля на выкуп пойдет.

-- Да ведь и теперь земля идет на выкуп,--

заметил я.

-- То-то, и теперь идет,-- отвечал Яшка невозмутимо.-- А там и еще хуже будет. У кого двенадцати тыщей будет, тот и землей владеть станет. А и кто тыщу-другую имеет, и те без земли погибнете. Верно я тебе говорю. Молод ты еще, поживешь -- вспомнишь.

-- Как же, Яков, неужто можно думать, что антихрист сильнее бога? Неужто божия правда не сладит с кривдой?

Яков подумал. Я заметил на его лице следы усиленной умственной работы. Он почерпнул откуда-то определенный ответ:

-- Ну, -- сказал он,-- не бывать тому. Поработают, да и погибнут... Верно!-- повторил он через минуту. -- Поработают, да и погибнут. А только не увидеть нам с тобой правды....

V

-- Ты, Яков, не признаешь гражданского суда. А государственный признаешь? -- допытывал я в другой раз.

-- Признаю государственный.

-- Какие же, по-твоему, государственные власти? Например, генерал-губернатор?

-- Енерал-губернатор -- государственный...

От великого государя. Правильный.

-- Значит, его решение правильное?..

-- Давно велел отпустить меня. Да вот, видишь ты...

-- Постой. Ну, положим, твое дело стал бы судить генерал-губернатор.

-- За что меня судить? Не за что.

-- погоди! Ты, вот, говоришь: не за что, а гражданские власти говорят: есть за что. Надо ведь кому-нибудь рассудить. Государственные власти ты признаешь? Ну, вот, они и судят, и решают твое дело против тебя...

-- Не могут они... Они должны правильно...

-- Да ты обдумай хорошенько. Говорят тебе гражданские власти: пусть, мол, рассудит генерал-губернатор твое дело. Ведь он имеет право решать дела, так ли?

-- Ну? -- сказал Яков, видимо, ожидая, что из этого выйдет.

-- Ты ему должен подчиниться, как правильной государственной власти?..

-- Нн-у-у? -- протянул Яков, осторожно избегая ответа, и, очевидно, заинтересованный возможностью некоторой новой комбинации.

-- Ну, вот, и выходит от него решение: подчиняйся, Яков, новым порядкам, неси земские повинности...

Яшка смутился.

-- Эвона! Видишь ты... Вот...-- подыскивал он ответ.

-- Теперь отвечай мне: покоришься ты или нет?

-- То-оно (То-оно... в этом слове сказывается уроженец Пермской или Вятской губернии. Оно употребляется в тех местах каждый раз, когда говорящий испытывает затруднение и не находит подходящего выражения)... Видишь ты... Где уж, поди... Нет! -- отрезал он наконец.-- Где, поди, покориться. Како коренье... Невозможно мне...

И на лицо его легло то же выражение непоколебимого сурового упорства.

-- Слушай, что я тебя спрошу, Володимер,-- сказал он мне однажды.-- Ты какого прав-закону будешь? Нашего же, видно?

Чтобы испытать Яшкину терпимость, я резко отверг свою солидарность с Яшкиным прав-законом и поставил перед этим фанатиком "старого прав-закону" основания совер-

шенно несродного ему учения. В выражениях, понятных для Якова, я развил известный кодекс практической нравственности с основами братства и равенства. Злоупотребляя несколько его невежеством в догматике и св. писании, я опирался на изречение: "по делам их познаете их" и на подходящих, текстах из Иоанна, совершенно отвергая обрядность и ставя на ее место "дела", то есть практическое стремление к осуществлению формулы любви. Все это я выдал за свою религию.

Яшка слушал внимательно, но, к моему удивлению, вовсе не заметил самого существенного в моем исповедании.

-- Что ж? -- удивил он меня. -- Это и по-нашему так: все от Адама.

Я поставил вопрос яснее и обрушился со своею критикой на двуперстное знамение.

-- Читал ты в писании: "Поклонитесь в духе и истине"?.. А что такое персты: дух или плоть? Тут Яшка понял.

-- Сказано тоже...-- медленно заговорил он, -- поклонитесь душою и телом...

-- А где это сказано? -- спросил я. Яков задумался и не ответил.

-- Что ж? Это тоже хорошо...-- сказал он в раздумьи, -- конечно, всяк по своему разумению.

И, вздохнув, прибавил со странным выражением:

-- Всяк по-своему с ума-то сходит...

VI

Спустя две недели после нашего прибытия в острог, перед вечером,-- но еще задолго до проверки,-- арестантов стали загонять в камеры. Коридоры опустели, и в подследственном отделении воцарилась тяжелая, будто выжидающая тишина, по которой мы привыкли уже угадывать приближение высшего тюремного начальства. Вскоре громыхнула дверь дальнего коридора, послышалось звяканье оружия, шаги многочисленной толпы.

Ближе и ближе. Толпа ввалила в наш коридор. Шаги отдавались отчетливо и смолкали у Яшкиной двери.

Лязгнули запоры, дверь отворилась. Несколько секунд стояло гробовое молчание, затем раздался голос старика -- "помощника":

-- Выходи, Яков... на волю.

-- Врешь! -- послышался в ответ суровый го-

лос Якова.-- Врешь, обманываешь, незаконник! Не те времена, чтобы на волю меня...

Конвойные бросились в камеру: послышался шум борьбы, что-то грузно повалилось на пол.

-- По душу! -- вскрикнул Яков подавленным, как будто задыхающимся голосом.-- По душу пришли, господи!.. Смерть, смерть моя! -- кричал он все громче и громче. В его голосе, то сдавленном, то резком и громком, слышалась глубокая тоска и страх смерти.

Сердце у меня сильно билось... Мною начала овладевать Яшкина фантазмагория в связи с комментариями реалиста Михеича: "У них это живо!" Яшку вязали, чтобы свезти в дом сумасшедших, где царили известные упрощенные приемы лечения. Яков отбивался в последней степени отчаяния.

-- Володимер, Володимер! -- вскрикнул он, вдруг вспомнив, что рядом, хотя за такую же дверь, есть человек, быть может, способный понять его положение.

-- Володимер, Володимер, Володимер!.. Фантазмагория овладела мною всецело. Я громко застучал в свою дверь.

-- Что такое еще? -- послышался голос помощника зрителя.-- Кто это стучит?

-- Политические стучат, ваше благородие, -- сказал Михеич.

-- Спроси, что надо?.. Пстой, я сам спрошу. Седой старик в мундире и папахе подошел к нашей двери и уставился в меня своими старчески бесстрастными, подслеповатыми глазами.

-- Вам что угодно?

Вопрос меня озадачил. Что мне было угодно? Реальная действительность глядела на меня в лице этого старика, и я не знал, что сказать реальной действительности. Я сам был заперт в одиночке, за крепкою дверью, и мне ли было вступаться за Яшку? На каком основании?

-- Что тут творится? -- спросил я.-- Что вы делаете с Яковым?

-- Это... позвольте... Какое вам дело?.. Дело это не ваше... Получено предписание от начальства: отправить номер пятый в дом сумасшедших. Ну, мы и отправляем... Может ли все это до вас касаться?

В отделении подследственных водворилась тишина, Яшку связанного пронесли по коридорам, уложили в телегу и увезли вон из тюрьмы.

Отступит ли Яков "от бога, от великого государя"? Отступит ли сибирская психиатрия от упрощенных приемов лечения? Ответ был ясен... Тяжелые мысли теснились в мозгу: меня подавляла мертвая тишь одиночки и коридоров.

Старик Михеич тихо запер дверь Яшкиной камеры, постоял перед нею, задумчиво покачал головой и затем уселся на своем излюбленном месте. Старая тюремная крыса бодро прошла по коридору, бросая довольные взгляды на опустевшую каморку, из которой не слышалось более громового Яшкина стука. Старик бормотал что-то и скверно улыбался.

Вечером "поверка" обходила камеры обычным порядком. Все было тихо.

-- Нет уже стукальщика,-- сказал его благородие, обращаясь к конвойному офицеру.-- Свезли нынче в дом сумасшедших.

Вдруг по коридору пронеслись громкие удары... Его благородие вздрогнул, тюремная

крыса уронила карандаш и тетрадку, офицер как-то нервно обернулся в ту сторону. Вся "поверка" точно застыла.

— Пошто держите меня, пошто морите, беззаконники?! — раздался вдруг козлиный голос Тимошки-остяка, и общее напряжение разразилось смехом.

Эта выходка была совершенно неожиданна. Козлиный голосок остяка так смешно подражал могучим окрикам Якова, все это в общем представляло столь жалкую и смешную пародию, что его благородие расхохотался. За его благородием захохотала вся "поверка". Смеялся старичок-помощник, моргая подслеповатыми глазками, грохотал толстяк офицер, сотрясаясь тучными телесами, хихикала тюремная крыса, улыбка шевелила длинные усы Михеича, смеялись в бороду солдаты, вытянувшись в струнку и держа ружья к ноге...

На следующий день и мы тронулись в путь.

1880